

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Душа хотела б быть звездой. Ф. Тютчев Березы на пашне тихи, ветви до земли, все недвижно, исполнено великой печали, слышно, как прорастает травюю горе из сердца, как шевелится в нем кровь, но нет отклика из земли, одно лишь тихое горе, одна лишь печаль... Тут были наши пашни. Какое-то совпадение, высшее веление, или уж и в самом деле Божий промысел, но за полтора года над этой могилой в наше, родительское присутствие ни разу не дул дикий ветер, не шумели ветви деревьев, не дрогнула ни одна травинка... Винится природа перед моим ребенком? Наша ли, теперь уже вечная вина распространилась на все вокруг, но ни воя, ни скрипа, ни шороха. Тишина над могилой, какой и надобно здесь быть... Когда-то здесь были наши, деревенские пашни. Сперва они были шахматовскими, стало быть принадлежали Шахматовым, большой разветвленно-широкой по деревне фамилии. Все пашни у нас пофамильные? Фокинский улус, Шахматовская заимка, Бетехтинский улус, Бобровская, Сидоровская заимки. Наша, Потылицынская заимка располагалась на Усть-Мане. Однажды сюда, в устье реки Маны, нагрянули "захватчики" новых времен, пролетарьи под названием сплавщики и заняли реку, землю, исполосовали канавами берега и огороды, закопали в них деревянные "мертвяки", прицепили к ним тросы и удавками поймали на те стальные тросы тяжелую деревянную гавань, она держала сплавленный лес. На лесу том ощетенно-стесненном, плотно и надсадно сгрудившимся, выдавившим бревна, так и эдак с утра до вечера звучало: "О-ой да еще разок", ? это из спертого леса, с обмелевшей воды люди баграми вытаскивали бревна и истыканные, во рваном корье отправляли плыть из Маны в Енисей и далее по ниточке бон на деревообделочное предприятие, под погрузку в вагоны, на раскряжевку, распиловку, на брусья, на доски. Тогда еще тайга была большой и близкой, тогда мне еще казалось, что зря загородили реку и удерживают лес? плыл бы... Тогда мне еще нравилось жить в бараке, пусть и с клопами, зато в нем поют и пляшут каждый день, нравилось рвать беременем белые ромашки на заброшенных, гусеницами тракторов искореженных пашнях, нравилось ходить в столовую и смотреть жужжащее кино... Но хлеб негде стало сеять, картошки в огороде не хватало, после тридцать третьего, голодного года, нам дали надел в исходе Манской гривы, в заглушь Шахматовской заимки. Полоса была у самой дороги, вокруг нее горбились кучи камней, задранных кореньев, переломанных кустов. Чищенкой это звалось, и в Чищенке так ярко цвели цветы, в особенности саранки... Мне было тогда десять лет. Четыре года назад погибла моя мама. Годы, годы и годы минули. И вот здесь, возле той заросшей полосы, где я выгребал из углей печеную картошку и, обжигая нутро, черня рот, нос и всю мордаху, уплетал эту рассыпчатую благодать, эту вкуснотищу, эту вечную забаву и спасение русских детей, здесь возникло кладбище. И вот я стою здесь над могилой своего дитя, и со мною вместе стоит внук-сирота. Ему тоже десять лет. А кругом лес. Полосами и рошицами разбрелись по бывшим крестьянским полям березы. Вольно им тут. Просторно. Почва благодатна. Семейно растут березы, по пяти, где и по шести из одного корня. Пучком. Развесистым, пестрым, спокойным. И не шумят. При мне еще ни разу не шумнули. Спасибо, березы! Спасибо, родненькие! Кланяюсь вам и подножию вашему скромному. Там, у вашего подножия, меж живых ваших корней, очень близко и так далеко, что никогда уже не достанешь, покоится моя дочь. Она была девочкой, и девушкой, и женщиной, и матерью, но я схоронил ее в сердце малым дитем. И помню ее малым дитем, тем, что, усыпляя на руках, прижимал к груди, тем, что теребила меня за волосы и дула в ухо, тем, что сделала первые шаткие шаги и доверчиво упала в мои протянутые руки, тем, что испеченная красной болезнью, с горьким недоумением смотрела на меня страдающими глазами, ожидая от меня помощи и облегчения, от меня и от матери, все остальные далеко, все остальные уже забыли ее. Господи! Да, что это такое?! Нельзя так, невозможно, недопустимо, чтобы родители переживали своих детей!.. А ветры бывают. И дожди. И снег. Даже буря была. Я пришел на могилу один. Портрет в деревянной рамке, прислоненный ко временной пирамидке, был сронен ветром вниз ее лицом, могила и оградка завалены ломаными сучками и листьями. Как птичьи лапки были сломанные веточки берез. Я поднял голову. Березы не шевелились. Ни единым листом, и все так же грустно и покорно висели темные ниточки в узелках, а по ним листья, листья... Я так и не узнал, где была та давняя полоса с картошкой, но почему-то думаю и верю? здесь она была, где спит беспробудно мое дите, где спать мне, моим близким? она, нет, раньше нее сюда указали путь моя тетка и дядя мой. Но ведь кто-то ж указал оделять здесь кладбище, не там вон и не вон там, а здесь, на нашей старой полосе или близ ее?.. Кто-то указал... Когда-то я пожаловался тетке на вологодское кладбище? могилы мелкие, глина мокрая, комками, и тетка сказала, что все равно кому-то земля эта родная, значит, самая близкая, и, смеясь, добавила: "вот у нас закопают, так закопают? не убежишь!" Не убежишь!

Глубоко у нас закапывают. Черная щель, как пропасть, летит в нее человек в нарядном домике, летит и конца полета не видно. Дите мое доставлено сюда на самолете и летело оно не в щель, в большую яму летело, в железном неуклюжем ящике. И за это, за яму, за железный ящик ? вина. За все, за все вина. И никак они, эти вины, не убывают, наоборот к старости все прибавляются, прибавляются. Господи! Не прощай Ты меня. Не надо! Ее прости и жизнь ее нескладную ни в ком, но прежде всего в ее детях не повторяй! Если можешь. Пощади душу ее, вложи или вставь, как там у Тебя на небесах делается? ? в птицу перелетную, пусть она улетит далеко, далеко, отдохнет там от этой страны, распушенной жизни, воя и стонов, слез и пустословия, но возвращается сюда к нам с матерью веснами ? успокоенная. Она, как и я, рождения весеннего... Как тяжело и как необычайно светло стоять и сидеть под этими, семейно растущими березами! Какая простота, какая естественность, какое ощущение вечности! Только что читал газеты, слушал радио, смотрел телевизор, звонили мне по телефону ? и все об одном и том же, об одном и том же ? как люди поедом едят друг дружку, как полнятся ненавистью и стоят с кольями и перьями по заугольям, чтоб оглушить кого колом по голове, кому глаз пером выколоть, кого ядовитым словом отравить. Так могут себя вести только бессмертные существа. Смертные, старые люди должны вести себя спокойно, умиротворенно, должны приуготовлять себя к вечному сну. Слово-то какое ? приуготовлять! Забыли его в злобе и суете. Из Выборга пишет мне старая женщина: "Перевешать бы всех вас, писателей!" ? чья-то мать, чья-то бабушка, книжки читает. С нами и в самом деле надо что-то сделать, как-то всех нас наказать за то, что мы так паскудно писали, говорили, так озлобили человека, исказили его сознание. Ведь не родилась же она с помутненным от злобы разумом... Я бы просил, где и у кого можно, на всех наших газетах и журналах рядом с лозунгом; "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" ? писать: "И избави нас от лукавого!" Это он, он, лукавый, завел нас в такие дебри, откуда не выбраться, и в теснотище в духоте этих дебрей мы рвем друг на друге рубахи, царапаемся, добираемся уже и до глотки, скоро хрящи под пальцами захрустят. И не только "у них", у врагов наших. У многих, если не у всех, захрустят хрящи, затрещат кости. Порой кажется, уже никого словом не унять, молитвой не очистить. Устало слово. От нас устало. А мы устали от слов. От всех и всяких. Много их изведено... Сюда, под березы эти родные, к свежему бугру земли всех бы собрать. И помолчать здесь. Ах какие тут перемены в сердце совершаются, какой быстрый возврат к себе, к тому, каким ты задуман Создателем и взращен природой. Ни Бог, ни природа не виноваты, что ты стал тем, чем ты стал. Ищи в себе виноватого, тогда не будет виноватых вокруг. Уверни тлеющий фитиль, погаси зло в себе, и оно погаснет в других, только так, только так и не иначе, ? это самый легкий, но и самый сложный путь к людскому примирению. И открой в себе память! Навстречу тому открой, что хочется тебе вспомнить, и забудь то, что хотелось бы забыть. Ну, начнем. Я со своего места, ты со своего ? повернем ключик и... Угол серого подопрелого амбара, далее темные стайки с кучами навоза, выкинутого зимой, на навозе густой, вольный, дурашливо веселый бурьян, в бурьяне особняком плотно стоит и угарно воняет темнолистый конопляник, похожий на какое-то диковинное, нездешнее растение, и жалица, прореженная кое-где вроде бы робким-робким, сиреневым пустырником, но все же потеснившим жалицу сибирскую, с резным листом и в яростных колючках. Наглая, плотно стоящая, дружно себя обороняющая от всего живого, к ней недружелюбного, ? оккупант ? оккупант ? только так, чужим словом и должно заклеить такое свирепое растение. И угол амбара, в заглушь преющие стены стоек с выбитыми стеклами и налипнувшим на грубые рамки сухим назьмом со сладко на нем уснувшими желтыми мухами, вся задворная глушь в каком-то исходном свете, в истаивающем тепле. Никого за амбаром нет, а вроде и есть кто-то, и этот кто-то, сдается мне, ? и, одетый в холщовую рубаху до пят, голыми пятками впаявшийся в тлелый, пыльный назем. Я ? настороженный парнишка, чего-то чувствующий, с чем-то вроде бы расстающийся, еще в малых летах. Где-то близко и в то же время далеко недвижимый, беззвучный лес, по горам и за ним, за лесом, чудится пространство земное и небесное, далее еще что-то, чего никак не достать глазами, слухом, но что ощущается воображением, ощущается отраженно, как этот солнечный блеклый свет, это слабое дуновение тепла, хотя самого солнца на небе нет, и теплу вроде бы идти неоткуда. Но где-то что-то есть? Живое. Во плоти. Нет, скорее расплывчатое, неслышимое, но все же чем-то ошутимое. Чем? И что это, что так тревожит меня, особенно во сне? И меня ли только? Двухэтажный деревянный дом. Казенный. С перекошенными рамами, крашенными густой бордовой краской, двери, крашенные в тот же цвет, распахнуты. От двух дверей два крыльца с вынесенными вперед стенками. Сверху на бревенчатые выносы набиты доски с уже вышарканной залами краской. Доски крыльца служили людям вместо скамеек, и на скамейках этих в летнюю пору любили посидеть мужики, покурить табаку. Пойдет человек в галошах на босу ногу в общественный туалет, один на четыре барака, он

Астафьев Виктор Из тихого света astafevvictor.ru

о восьми или десяти дырках, в телогрейке, накинута на исподнее, в шапчонке, мятой кепке, кто и голоухим. На обратном пути непременно присядет на крыльцо, задумчиво глядя на реку, вдаль, скрутит сигарку. К нему молча подсаживается другой, третий облегчившийся жилец барака, в домах-то, даже двухподъездных, туалеты свои, непродуваемые, на висячие замки запирающиеся. И снова бледный свет или отражение света, неслышное тепло или отражение тепла, слабое его парение. В окнах красными мушками обвешан ванька-мокрый, осыпается бутон герани, но два других уже многоперстно набухли, расперты плотью. Должно быть, это в Игарке. Только там я видел такие дома из бруса, с перекошенными рамами, с вынесенными бревнами крыльца, и только там, в Заполярье, бывает это слабое, ласково-печальное тепло при бледном желтоватом свете. И мне видится; я сижу между двумя молчаливыми мужиками, с похмелья хрипло и мокро кашляющими, отплевывающими горькое мокро за стенку крыльца, на смирную и бледную заполярную траву. Сижу, молчу среди незнакомых мужиков, и они меня не прогоняют, но и курить не предлагают. В ту пору детям еще ни курить, ни пить не давали, а вот за грязное слово по затылку вмазывали. Посидел, помолчал, поднялся, ушел. Мужики молча смотрели мне вслед... Еще лет тридцать назад в одной из своих ранних повестей я вопил "голосом" главного героя повести: "Не надо! Сирот!" ? тогда я ходил в Нижнюю Курью, что под Пермью, в детдом, в котором заведующей работала женщина более 30 лет и вся уже растворилась в, этом детдоме, в этих несчастных детях ? своих детей, иного дома у нее не было. Попутно вспомнилось, что наиболее преданные сиротам и сиротскому делу бывают одинокие люди. Имеющие детей, даже очень умные, даже очень образованные люди страдают одной существенной слабостью ? своих детей они все равно любят больше, чем воспитанников, и советские детдомовские начальники во множестве доказали это на деле ? обворовывая "этих", во благо "тех". Когда я ходил в Нижнекурьюнский детский дом, там было 35 процентов детей, имеющих родителей, и это считалось бедствием, сейчас в детдомах, переименованных, не без хитрости и лукавства, в школы-интернаты, детей, имеющих родителей, от 70 до 90 процентов, и как же это заведение, где живут дети, преданные и пропитые родителями, прикажете называть ? приют? Детдом? Но не получается, приюты и детдома ведь для сирот. А эти бедные дети кто? К какому сословию их приписывать? В какое заведение их определять? "В стране миллион сирот" ? из доклада Альберта Лиханова, ведающего Детским фондом, произнесенного на съезде депутатов десять лет назад. Но эта цифра весьма и весьма относительная ? столько же, если не больше, детей брошенных и неучтенных ? в Туве пастух с пастушкой напились араки, в гости потянуло, сели на лошадок своих ловконьких и уехали в гости за пятьдесят верст к соседу и так там загуляли, что забыли о шестерых своих детях. Брошенные, холодные, голодные дети постепенно принимали мучительную смерть. Когда вернулись отец с матерью, обезумевшая от пьянства мать попинала замерзшие трупики и, не найдя среди них ни одного мягкого, сказала едва живому мужику, ползающему на полу среди мертвых детей, ищущему место, где бы приткнуться отдохнуть, с хохотом сказала: "Ссяс печку натопим, барана сварим и съедим, новых ребенков делать будем, эти слабые попались, какие из них пастухи? какие кочевники..." Когда пошли в кошару за бараном, увидели их только половину, уже уставших орать, ? без воды и пищи большая часть баранов сдохла. Редчайший случай в природе ? травоядные животные занимались каннибальством, живые пожирали мертвых. В уссурийскую тайгу подались бич с бичихой "за саморостом", заготавливать дикие травы, ягоды, семена, оставив пятерых детей в избе, чтоб те не разбежались, сделали в избе загородь из досок и замкнули жилище ? дети грызли загородь, уподобившись колхозному скоту; во многих наших передовых хозяйствах, с марта месяца переходящих на "деревянную пищу", там каннибальство ? дело привычное. В одном из вологодских колхозов голодные свиньи затоптали и съели свинарку, ? говорили, вместе со звездой героя, свинарка возвращалась с пьянки при полном параде. Этот случай Александр Яшин рассказал земляку ? Владимиру Тендрякову, и тот написал повесть "Поденка ? век короткий", где дело кончается пожаром на свинарнике, в коем погибает и героиня-свинарка. Может, тогдашняя цензура сработала, но скорее самоцензура. Яшин, неподкупный, много перестрадавший за свою землю человек, не при мне одном, при многих земляках и гостях в гостинице "Москва", за столом в номере психозно кричал на Тендрякова, называл его "сволочью". Тендряков, еще больше окостенев лицом, тоже впал в бешенство, топал и орал на Яшина. Все кончилось тем, что Тендрякова спровадили домой; Яшин, уже смертельно больной, да ни он и ни мы еще не знали об этом, добавил маленько, уткнулся в тумбочку лицом и уснул на скомканной салфетке, которая серела, намокала от слез, стекающих по его усам, он и во сне не мог успокоиться ? все мы притихли, посидели и на цыпочках разошлись. Утром нашли на тумбочке записку: "Дорогие ребята! Простите меня, дурака. Саша". Совсем недавно, все на той же вологодской земле, в городе Череповце молодая женщина выбросилась из окна, с девятого этажа ? ну выбросилась и выбросилась, этим нас

Астафьев Виктор Из тихого света astafevvictor.ru

уже не удивишь, но беда и потрясение в том, что перед тем как выброститься самой, женщина в это же окно выкинула своих детей, двух мальчиков ? двух и четырех лет от роду. Нет, нет ? не надо! Не на-аадо! Сумасшедшие и шизики так не поступают. Они, в особенности женщины, и "в крайности" остаются преданными детям "зверями". Так могла поступить только до самого страшного отчаяния доведенная мать, не умея устроить себя в жизни, не приученная спасать и спасаться, не желающая бросать на кого-то и подбрасывать кому-либо своих детей. Только отчаянно любящая мать могла так поступить. Так и рвется с языка: "И правильно сделала! Чем к миллионам обездоленных, несчастных детей добавлять еще и этих, лучше убить их..." Но все в сердце и под сердцем протестует и болит: "Н-не на-аадо! Н-не на-адо!" И снова думаешь о Боге. Где Ты? Куда Ты смотришь? Почему Ты этакую чудовищность допускаешь? Испытываешь? Караешь? Но не так же, не так же сурово. Господи! А то ведь уже дела Господа и палача становятся неразличимы и неразделимы, разве что палач виновных казнит. Господь же в назидание нам невинных выбирает, да все страшной их наказывает, и толпами, толпами. Что, Страшный Суд уже начался? Идет? Так извести об этом. Господи, дай возможность перед гибелью покаяться в грехах наших тяжких. А что такое грех? Что такое покаяние? Для кого-то мой грех и не грех вовсе, а жизни награда, для кого-то покаяние мое ? кривляние, юродство. Более всего нынешних людей бесит смирение, склонность как раз к покаянию и исповедальности. Вот если пуля на пулю, кулак на кулак, зуб за зуб ? это понятно, это привычно и будит силу ответную, злую. А память, смирение и успокоение не для этого тревожного мира. Что же, что же там дальше-то? Изгиб лесной речки, свалившиеся в воду подмытые кусты, темные, мокрые, в пятнах рыжих грибков по сырой коре, и задавленная черной моросью гниющего кустарника, втиснутая под навес кореньев и пластушин земли, зеленеет и бледно цветет смородина. Под кустом смородины, в промытом камешнике, сплошь застелив дно, лежат полуразвалившиеся, в лохмотьях, изорванной коже, пустоглазые ельцы или хариусы, и на мертвых рыбах темной рябью червяки-ручейники. Вцепились, всосались в рыхлые, полужесткие тела мягкокостного хариуса, уже переели наполовину, выточили глаза, пучком влезли в круглые глазницы. Водохранилище с тухлой водой непригодно для зимней стоянки светловодной рыбе и, после того, как подперло реки и речки, рыба стала оставаться в мелководной речке на зиму. Несколько зим сходило, но вот настала переменчивая зима, то морозы, то сырая хлябь, наледью покрыло речку, придавило лед ко дну, перемерзла на перекатах речка, схватило вверху и внизу плеса за горло. Неумолимо двигался, намерзал, оседал ко дну лед, выжимая воду наверх, и чем он ее больше выжимал, тем толще и непроницаемое становился тяжелый покров. Рыбки задыхались, опрокидывались вверх брюхом, судорожно дергали ртами, хватали воду яркими жабрами. Обессиленные тела их несло под этот бережок, набивало в бороздку, и не осталось в ямке ни одной живой души. С берега под лед вкопалась бесовски-ловкая норка, таскала дармовую добычу. Но вода поднялась по норе вверх, забила ее мерзлой пробкой, недостижимой сделалась добыча. Когда промыло весной лед, обтаяли берега, поднялось мутное половодье, по речке несло и кружило, будто палый лист, мертвых рыбок и забивало ими такие вот промоины, забоки, уловца. Но так было и веки назад, кто-то погибал, кто-то спасался, кто-то и вовсе исчезал навсегда. Но я-то, я-то там как? Рыбой был и задыхался, что ли? Речкой ли вешней, веселой и свободной ото льда, зверушкой ли, озабоченной семейными делами и мимоходом заглянувшей в омут? Может, уже человеком я там был, содрогнувшись от догадки о неминуемой смерти? О червях, которые вопьются в мое брненное тело? И еще, и еще, видения, предметы, дома, люди, реки, дороги, горы, леса, дальние страны, в которых я тогда еще не бывал. Кетадокия, например, древняя восточная страна, сплошь покрытая выветренными скалами причудливейших форм и расцветок, и пещеры, пещеры в этих горах, в скалистых высях ? там обитали древние люди, но когда показывали Кетадокию по телевизору, все мне было там не внове, все это я видел во сне или за сном, в каком-то другом чувстве или явлении. Но я там жил, был и тоскую по той стране, хотя даже близ Турции, на востоке которой располагалась когда-то Кетадокия, вживе не появлялся. Все не по порядку, все в разное время, необязательно праздное, явь и вымысел в одной куче, возникающие, иногда на ходу, в людской толпе, среди работы, среди сна, в самолете, на лодке. Чаще возле огня. Ночной порою. В глухой тайге. Огонь и тайга сблизают человека с миром бывшим и сегодняшним. В ночной тайге начинаешь понимать, что все уже было до тебя и ты был, вот память твоя содрогнулась и утихла ? боишься спугнуть приблизившуюся к тебе тайну. Да, да, одиноко уютно тебе в ночной тайге, возле живого огня. Но отчего ж боязно-то? Скользнет, вспыхнет видение, приостановится в памяти и тут же булькнет в бездонный омут времени и пространства. И лишь потом ты догадаешься, это булькнуло в речке, может, камешек, может, еловая шишка. Но есть и такое, что, вроде болезни, не уходит, оно все время, как наваждение, как призрак, тень, отголосок, ответ ? как и сказать, не найдусь. ...Москву накрыл

циклон со снеговертью, с бухающим по крыше ветром, с той мразью, когда свет белый не мил, да и нету его, свету белого, мокро в небе и бездушно, мокро, серо вокруг, на земле пленка снега, тонкая пленка кисельно-блеклого, вроде бы неживого и никому, даже самому снегу и ветру не нужного покрова. Все тело болит в такую погоду, в голове звенит, будто в пустой колокольне. Особенно почему-то тяжела такая погода в Москве, в ее каменной утробе, совсем чужой, совсем равнодушной в такую погоду, начинаешь думать: сколько же умерло и умирает в этакую, все и всех давящую, безотрадную пору людей в этом городе, сколько задыхается в каменных стенах от больных легких, от спазмов сердца, зовет и не может дозваться помощи. Где-то на окраине этого бездушного города дни и ночи масляно курится жирным дымом крематорий. К нему покорная очередь, стиснутая горем и недоумением. Съехавшиеся на учебу в Москву вчерашние мужики и солдаты, алчущие мудрых знаний, разгоняли тоску, давили ее самым легкодоступным способом, разбившись на кружки, беспробудно пили в запущенных полухолостяцких комнатах и не ездили на занятия. Надо тащиться в центр Москвы. Тяжело. Неохота. Кто-то из курсантов после двухдневного отсутствия проскрипел ныне ставшую расхожей фразу насчет того, что умножающий знания, умножает скорбь, и мы остались в общежитии и на третий день. Снег уже вытряхивало над Москвой из необъемных мохнатых "мешков", просто дул ветер из серой, мозглой пустоты в серую мозглою пустоту, и оттого, что в нем, в ветре, уже ничего не тащилось, не кружилось и все, что должно быть принесено, выброшено, сорвано, отброшено, он оторвал, выбросил, вытряс, ветер выл голодно, пустынно, выбрасывал всю свою силу и злость просто так, от дикого разгула и необузданности, давая сознание людей, сминая их больные кости и слабые тела для того, чтобы памятовали, что есть сильнее, злее и неистовее их силы... Я не выдержал тупой, безотрадной жизни, возлияний, не заглушающих боль в костях, даже не притупляющих сосущего чувства одиночества, пошел на улицу, на ветер. В том месте, где было наше общежитие, сплошь стояли современные многоэтажные дома, тоже большей частью студенческие общежития. Возле них всегда ходил туда-сюда, толкался, смеялся и шумел народ. И вот ? ни одной живой души. Только ветер, уставший, хлябающий от собственной злости меж домов властвует по земле и в городе, клонит долу стволы, рвет на посаженных нами кленах папухами смерзшиеся семена. Я пошел вдоль общежития, меж шумящими, устало качающимися, молодыми деревцами и голыми стенами домов с одинаковыми окнами, дверьми и подъездами. Из подъезда соседнего дома с бидоном в руке вышла девочка, в нерешительности остановилась на крыльце, схватившись за вязаную шапочку, боясь ступить из заветрия в беснующееся, воющее, свистящее пространство. Наконец девочка шагнула, будто с тонущего корабля за борт, все так же держась за шапочку и жмурясь от ветра. Пальтишко на ней было воробьиного цвета и покроя, тоненькое, с затянутым, завязанным в узел на животе пояском. Там ее не поддувало, но сильно хватануло за грудь, и девочка той рукой, в которой был бидон, попыталась зажать у горла пальтишко, прикрыть грудь перьями бортов, тоже похожими на короткие воробьиные крылышки. Из пальтишка девочка выросла, оно не захватывалось у горла и, сделав резкое движение, девочка сронила крышку с бидона. Ее, эту бедную белую крышку, вдруг подхватило ветром, поставило колесиком на ребро и быстро покатило по мокрому асфальту. Я как раз поравнялся с девочкой и бросился вслед за крышкой, пытаюсь ее поймать, но никак мне этого не удавалось сделать ? крышка вертелась, подпрыгивала, ускользала в сторону, шаталась, готовая вот-вот упасть, она снова и снова выправлялась на ребро, с веселым звоном, с бесшабашной удалью, катилась и катилась, с бульвара на улицу, где, поднимая вороха мутной воды из неровно накатанного асфальта, двигались грязные машины. Долго, словно живая, играла с нами веселая крышка бидона, и мы с девочкой, захлебываясь ветром и смехом, гонялись за ней. Я уж начал подумывать ? не плюхнуться ли брюхом на крышку и придавить ее, будто живую птаху, заграбастать и отдать девочке. Бог с ним, с пальто и с брюками. Вычищу. Зато настроение мое разом улучшилось, все недомогания, внутренняя отупелость пополам с раздражительностью, куда-то улетучились, опустились на дно души, хорошо мне разом сделалось, хотелось озоровать, будто мальчишке, прыгать, гоняться за чем-нибудь и за кем-нибудь. Но крышка приостановилась на скаку, завертелась волчком и опрокинулась вверх конусом, на котором круглилась белая бомбошка с желтым пятнышком. Желтое пятнышко при ближайшем рассмотрении оказалось цыпушкой. "Все! ? как бы говорила своим смиренным видом крышка. ? Задачу я свою выполнила. Развеселила тебя и девочку. Но устала. Сдаюсь". Я поднял крышку с асфальта, произвольно шоркнул ее доньшком о пальто, чтоб стереть со дна крышки грязное мокро, и, все еще улыбаясь во весь рот, с бряком водворил хулиганистую крышку на место, водворил и первый раз взглянул на девочку, глянул и чуть не отшатнулся: смутная тревога начала проникать в меня, сдавливая нутро, и хотя я все еще улыбался, но это уже была тень улыбки. Девочка ? бледное, долговязое и большеглазое дитя большого города, смеявшаяся звонко, во весь свой большой и свежий рот, вдруг

встревожилась, и ее заалевшие губы стали сворачиваться, закрываться, словно чуткий цветок на ночь, но до конца не закрылись. В полуоткрытом рту девочки светились два передних крупных белых зуба, будто лепестками украшая алый рот, во взгляде и дальше, за взглядом, за занавесью ресниц, накатывал на зрачки, расширяя глаза во весь размах, страх. Ни с чем не сравнимый детский ужас, смятение ли, ошарашенность... Я где-то видел эту девочку, нет, не здесь, не в Москве, не во дни и годы ученья, нет, я знал ее очень давно, видел в каком-то другом месте, в тихом, слабом, недвижно-лампадном свете, овеванную еле ощутимым, реющим теплом. Но девочке лет восемь-девять, мне ? за сорок, я никогда не жил в Москве, тем более на ее окраине, на так называемом Бутырском хуторе, и нигде и никогда не мог ни видеть, ни знать эту девочку. И все же: я видел ее давно, давно и всегда знал ее. Всю жизнь. Быть может, с младенчества. Она была не просто девочка, она была мне близка и родна. Я любил ее какой-то странной, отдаленной и до того невероятной, душу тревожащей любовью, что никому, даже самому себе, не смел в этом признаться, и любил я ее не блудной, не скрытной и грешной любовью. Какое-то бестелесное, на нежность похожее ощущение размягчало и успокаивало мое сердце. Девочка всегда была во мне и со мной, как тень моя, как моя душа, которую я лишь ощущаю, но не знаю ? что она, где она, какая? Девочка приближалась ко мне, делалась явственно-осязаемой, тогда, когда тускнел вокруг меня этот свет, отдалялся этот мир, и высвечивалось, оживало что-то другое, потустороннее, всегда покойное, всегда в каком-то отдаленном слабом сиянии, какое рисуют за крыльями ангелов, летающих по небу. Во время болезней, в госпитальном бреде, в беспамятстве, непременно возникала девочка, неслышно приближалась, была рядом, ничего не говорила, не протягивала рук, она просто присутствовала, просто смотрела и помогала мне дышать, переносить страдания, подвигала к выздоровлению. Я всегда боялся вспугнуть ее криком, громким стоном, пристальным взглядом, неловким движением. Она была бесконечно далека от меня и в то же время осязаемо растворена во мне, во всем, что было вокруг, ласково реющее тепло всегда было с нею, оно живительно веяло на меня, утишало жар, растворяло смертный морок, и я воскресал, возвращался к этой жизни, в этот мир. Девочка оставалась где-то там, за гранью моего прошлого сознания, однако вместе с нею не исчезала тоска по ней... Но если я вовсе не видел, не знал московскую девочку, она тем более не могла меня видеть и знать. Я родился почти на сорок лет раньше ее, жил в другом месте, другой жизнью и помыслами. Это так естественно. И, тем не менее, я видел по смятенному взгляду девочки, что ее посетило, повергло почти в ужас какое-то знакомое и непонятное видение ? она тоже узнала меня, узнала не как встречного, как еще одного дяденьку на улице, она узнала во мне кого-то, кто постоянно был в ней, восставал и присутствовал в ее жизни; в минуты помутнения ее разума, детского горя и слез, своим присутствием отделял ее от этого мира, полного тревог и обид, погружал в беспредельную тишину, в тот бледный, все успокаивающий свет. в то полупустынное, бесконечное пространство, где реет слабое, но волшебное тепло воображения и воскресительной нежности. В безмятежные дни жизни моей мы не являлись друг другу, но были где-то рядом, готовые возникнуть по зову не сердца, нет, а чего-то совсем нам неведомого и умом нашим еще не постигнутого. Девочка начала отступать, прижимая бидон за поднятую дужку к груди, как бы загоразживаясь им. Сперва она просто пятилась, затем засемила бочком, все не спуская с меня серых, до крика расширенных глаз, сделавшихся по-взрослому глубокими, как бы высветленными тем дальним, всевластным светом, и такая бездонная память, такое давнее страдание выделось в глубине их, что я содрогнулся от какой-то, тоже неведомой мне мысли или вины: "Что ты? Что ты?". И я, и она ? все понимали! Все! Я хотел успокоить девочку, объяснить и отъять от себя вину, но делать этого не надо было. Ни я, ни она объяснить ничего не могли. Нам было тоскливо, тревожно расставаться, и все же мы должны были расстаться. С каждым шагом, отдаляющим нас друг от друга, слабело во мне напряжение, уступая место тревоге и сожалению о чем-то. Я хотел было окликнуть девочку, и она остановилась бы, замерла. Но я не смел этого сделать, да и не было во мне сил и способов это сделать. Природа, нас народившая, не наделила ни меня, ни девочку ответными возможностями, ответной силой, мы могли быть вместе лишь в давней памяти нашей, в какой-то заземной, занебесной среде, созданной, быть может, все той же памятью, или тем, что превыше и дальше нашего ограниченного сознания. За ним, там, где-то выше, дальше, что лишь подсознанием, мощным порывом гения, гениальным чувством, колдовским наитием, обрекающим его на неведомые простым смертным страсти и муки, на тоску и жгучую жажду прекрасного, к которому дано ему приблизиться, почти осязаемо почувствовать, узреть гармонию жизни и мира, может, и крушение их, осязание полета к распаду и неизбежному концу. Всегда у гения в стихах, в песнях, на полотнах присутствует другой, едва угадываемый мир со спящей на холме прекрасной Венерой, виден еще один, дальний, запредельный, но в земное обращенный, будто бы к нам приближенный мир, освещенный едва-едва,

что-то неотгаданно в себе таящий. Поэты и гениальные живописцы, музыканты никогда не кричат, не визжат, не перекалывают красок, говорят негромко в присутствии сотворенной ими спящей Венеры, не шевелятся, не гомонят, не кашляют даже, когда звучит великая музыка, они хотят смирения и прозорливости для того, чтобы мы увидели или хотя бы почувствовали тот второй, нами неугаданный мир и свет. ...Страх за вышнюю красоту, страх за тот, художником почувствованный и воссозданный мир, который подсознательно живет в нас, рождает уважение к гению и ненависть за то, что ему было дано приблизиться к СВОЕЙ ДЕВОЧКЕ, осязать ЕЕ, получать тепло нежности и силу вдохновения. Упрощение искусства и слова есть упрощение чувств, отупение человеческого разума, потускнение вышней памяти, поэтому, только поэтому исчезло подлинное искусство и слово. Человек, отдалившись от СВОЕЙ ДЕВОЧКИ, отдалился от себя, от того, кем он был и мог быть. Отсутствие памяти делает человека обыкновенным смертным, а не разумным существом, которому почти доступно было таинство мироздания, его тревожило ночное небо, манили звезды дальним светом, в сердце его рождалось чувство всеобъемлющей любви и жажда постижения загадки его и мира, его окружающего. Человек, который жует, испражняется, справляет необходимую для своего существования работу, человек, который ничего уже не ищет и не чувствует, "кто-то слышал мое обмиранье, сердца не слышит никто", ? никому и даже самому себе не интересен, да и не нужен, Пошатается он по земле, съест и выпьет полюбленное, переработает съеденное и уйдет туда, откуда пришел, в землю, и станет землею. И это его справедливый удел, его лошади, собаки, коровы, оленя, змеи, льва, кролика. Лишенный памяти, оставляет ДЕВОЧКУ одну, лишает света; за ним, как и за животным, смыкается бесчувственная тьма: никто и ничего не мучается, никто ничего не ждет, ничем не тревожится, не сгорает в страстях, не возвышается вдохновением до горних высот. Вместе с последним вздохом умирает все. Даже надежды. Девочка побежала мелко-мелко, перебирая резиновыми, бледно-розовыми сапожками с аляповатыми цветочками на голенищах, побежала, как бы не веря, что за нею не погонятся, не схватят, не остановят ее. Но была какая-то над нею власть, которая заставила ее в последний раз оглянуться, перед тем как завернуть за угол дома. И она оглянулась, на мгновение замерла, но тут же со всех ног бросилась куда глаза глядят. Ветер ударил ей в спину, покатило по скользкому тротуару, вколотил в каменный коридор города. "Ангел мой! Ангел мой!" ? услышал я себя. Годы ли берут свое, стеклянеет ли память, выросла ли и ушла из этого земного мира ТА ДЕВОЧКА, однако памяти моей она уже часто делается неподвластной, я мучаюсь и не могу вспомнить что-то, так мне необходимое, нет во мне сил воскресить в себе девочку, страну Кетадокию ? мою прошлую обитель и пристанище, мне не хватает доброго далекого света, недвижимого тепла, из которого рождаются тихие молитвы и та, все утишающая благодать, которые бывают лишь в церквях, особенно в древних, деревянных, едва освещенных, где явственно присутствует, реет чей-то дух и слабое, во все времена года, во все дни бедствий и тревог нашей жизни, успокоительное, ласково реющее, животворительное, святое свечение, вроде бы исходящее не от солнца, а от какого-то, неведомого никому, никем никогда не открытого источника, он вроде бы и открываться не должен, он в тебе и вне тебя, он есть ты, твое продолжение во всем, что подвластно твоему разуму, чувствам и взгляду. Вот я и назвал слово! Вот я и приблизился к своей отгадке, но все равно мне боязно открывать его, сделать доступно осязаемым, обыденным, страшно захватить его, упростить и опростить. Быть может, это то самое, что люди называют упрощенно и грубо ? дух мой?! И что там он, этот дух? Что он значит? Как его и кто объяснит? На что он хоть похож-то? А похож он на мою маму, еще на маленькую, восьмилетнюю, которую я, конечно же, в этом возрасте не видел, не знал, и видеть, и знать не мог, но какая-то, во мне присутствующая память подсказывала ее облик, и когда однажды, уже пожилым человеком, я увидел маму на фотокарточке, снятую еще девочкой, то нисколько и ничему не удивился ? именно такой я всегда знал и видел маму. И ТА ДЕВОЧКА похожа на мою дочку, умершую в сорок шестом году в совсем младенческом возрасте, и поднимись она на ноги, подрасти ? была бы точно такой, какой я ее знаю и вижу; и на вторую дочь, умершую уже взрослой, но помнится-то она тоже маленькой, такую маленькую жалче, а память ? услужливый инструмент; и та девочка, лет трех-четырёх, в желтой гуцульской безрукавке, расшитой по грудке веселыми цветными нитками, что лежала на дороге вместе с побитыми цивильными жителями, с беспомощно, недоуменно открытым в последнем крике ртом. в последнем всплеске ужаса и памяти, быть может, той памяти, что древнее и глубже нас и нашей сегодняшней, земной памяти. В летчике, неумолимо валившем на нее, на ребенка, тяжелую страшную машину, она узнала его, продолжателя ее памяти, и он узнал ее, продолжательницу его памяти, но презирающий все, даже собственную память, отученный уважать и помнить то, что его породило, он не отнял пальцев со спусков пулеметов и выкосил народ на дороге, застрелил беловолосую девочку в гуцульской безрукавке, с шелковистыми,

веером по дороге рассыпавшимися волосами. На них, на детские, чистые волосы, на красивую, как у взростлой пани головку, не наезжали машины, не наступали обувью ни отступающие чужеземные солдаты, ни наступающие москальи. Но летчик-фашист не пощадил ребенка, убил свою память, как обреченный висельник выбил сам из-под себя опору, а девочка, даже убитая, насмерть сваленная пулями в грязь и кровь войны, лежала чистая, с ангельским, светлым ликом, с успокоенно закрытыми глазами, и только рот, темно и страшно раскрытый рот кричал в небеса, в земные пространства, взывая к милости: "что вы делаете, люди? Зачем убиваете меня? Вы убьете вместе со мною себя!.." Все девочки: убитые, обиженные, сироты, больные, обездоленные ? похожи на мою мать и, значит, на того, кто родил и любил меня и кто назначил мне свою любовь, передал или перенес в меня свою память и, поскольку ей, моей маме, тоже кто-то оставил, передал свою память, и далее, до того, кто был, тоже была любовь и память, значит, нет у нее начала и нет конца, если только не обрывать ее насильственно, не истреблять злобно ? у доброй памяти доброе начало. Стоит она, эта преемственная память, или держится только добром и любовью, и если побеждает зло, память и любовь исчезают совсем, и тогда просторно на земле злу, ибо оно укореняется и прорастает только там, где исчезает добро, где нет жива духа, ни того, что мы называем святым, ни того, что в нас, с нами, что земно и постоянно, что испытует, тревожит, поддерживает и исцеляет нас во дни мучений и бед. ...Угол каменной стены. К замшелым камням приник кипарис. Везде и всюду прямой, гордый, неприступно мрачный, тут он изогнулся стволом, впаялся ветвями в щели камней, бледный, гнутый, едва живой, он существует, отшатнувшись от проезжей дороги, его задевают колесами телег, мимоходом ломают на нем ветки, мальчишки пробуют острия ножей на его стволе, но он живет напряженной стойкой жизнью, и только ночью перестают дрожать его изуродованные ветви и начинают вкрадчиво, ладанно пахнуть... ..Розовый березник в заснеженном косогоре... ..Одинокое под парусами удаляющийся в безбрежном океане корабль... ..Старое кладбище, заброшенное в лесу, и среди всех упавших крестов и памятников стоит один фигурный лиственничный крест, серо-темный от ветров и выкипевшей смолы, стоит в наклон, как бы сопротивляясь ветру, не понимая бедствия... ..Мохнатая и нестрия, как шмель, лошадь, склонившая заиндевелую голову над прорубью, заглядевшаяся в глубь чистой, голубой воды, что-то там увидевшая и угадавшая... ..И молодая лошадь, белая, холеная, с умными карими глазами, приплясывающая на нарядном поводке, среди трека конезавода, засыпанного опилками, как бы в страхе, на самом деле кокетливо, чтоб видно было всю ее стать и красоту, шарахающаяся, всплывающая на дыбы, и все время взгляд в сторону гостей, и в глубине его печальная усмешка: "Я старше, я умнее вас, и потому моя судьба проще вашей и достойней, а несчастья мои только от вас и от подчинения вам. Я буду вечно, вы ? не знаю..." ...Чум, высвеченный от земли очагом, в меховой зыбке, из блюда, грязной рукой ребенок достает крошки, крошенные в красное вино, и горстями заталкивает их в рот; на земле, сложив ноги калачиком, сидит молодая женщина с распущенными толстыми волосами, раскачивается и пьяно поет-завывает... ..Четыре белогрудые ласточки-дитя, засохшие в гнездышке, мать, вылетевшая с чердака за кормом, не вернулась к гнезду, в деревне много брошенных людьми голодных свирепых кошек... ..Улыбка в уголке рта задушенного поэта ? Рубцова, чуть презрительная и хитрая-хитрая, будто сказать хочет покойник: "живите. А я отмучался..." ...Одинокое маленькая женщина на пустом и неудобном перроне, покрытом тонким пластиком снега, похожим на бумагу, сплошь изорванную темными следами, ? моя жена, куда-то опять меня провожающая. ...Внучка, со сведенными еще в горсть, красненькими лапками-ручками, с неуклюже большими, красными следами ног, с закрытыми глазами, слепленными белой пленкой, и беззубым, страдальчески открытым, по-птичьи керкающим зевом ? мой первый на нее взгляд и первая тревога ? что с нею будет? что ждет ее в этой жизни, на этой земле?... ..И обязательно, всю жизнь, ? удаляющийся по пустынной дороге, одинокий, тоскливый путник. Кто это и куда он удаляется? Лицом к закату, к сгущающейся тьме... Я знаю кто. ...И реже, все реже, в совсем слабом, в совсем блеклом отсвете не девочка, нет, но тень ее или уже отсвет... Но хоть и так, хоть устало, ослабленно, а все же работает моя память и жив мой дух, который могучей, древнее меня, значит, мне еще ощущать, жить, чувствовать, до конца дней постигать Великую загадку и тем самым заполнять смыслом свою жизнь, свое в этом мире присутствие. И само существование мира, Земли и наше в нем и на нем существование не есть ли таинственный дар, чье-то волеизъявление или распространение жива духа, вечно витающего в мироздании и не переставшего быть с кончиной нашей, ибо сама вера в жизнь, ощущение ее неотгаданности и есть бесконечность, бессмертие наше, стало быть, и всего, что подвластно нашему воображению и чувству, быть может, тому чувству, которое присутствует в нас, но еще никем оно не открыто, не отгадано и нет конца работе мысли, границ воображению, пределов чувству. Землю можно разрушить, цивилизацию и жизнь

Астафьев Виктор Из тихого света astafevvictor.ru
истребить, сотворив самое грандиозное самоубийство в мироздании, но останется
дух наш, будет витать в безмерности времен, пространств, искать приюта на
какой-нибудь живой планете, в чьей-то живой душе. И однажды, мне лишь известная,
мне лишь назначенная, моим воображением и памятью созданная, явится тихо, из
тихого доброго света ДЕВОЧКА и протянет мне руку. 1961, 1975, 1982, 1997

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!